

В. В. БИБИХИН

---

*дневники  
Льва Толстого*

Владимир Бибихин  
**Дневники Льва Толстого**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2000-2001

УДК 1 (470) (091) + 82-1  
ББК 87.3 (2) 6+83

**Бибихин В. В.**

Дневники Льва Толстого / В. В. Бибихин — «Издательство Ивана Лимбаха», 2000-2001

ISBN 978-5-89059-489-1

Переиздание курса лекций, прочитанного В. В. Бибихиным на философском факультете МГУ в осенний семестр 2000 и в весенний семестр 2001 года. «Дневники Толстого и его записные книжки это вспышки озарений, и как человек чтобы быстро что-то записать хватается карандаш, гвоздь, так Толстой первые подвернувшиеся слова. Понятийный разбор этих записей даст ноль, единственный шанс — увидеть искру, всегда одну, которая ему осветила тьму и тут же погасла <...> В основании всего, в разуме бытия, живого и он уверен что неживого тоже, он видит любовь и поэзию. Эти две вещи сумасшедшие, нерасчетливые, жертвенные, непредвиденные. Жизнь идет от них». Текст публикуется в авторской редакции В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 1 (470) (091) + 82-1  
ББК 87.3 (2) 6+83

ISBN 978-5-89059-489-1

© Бибихин В. В., 2000-2001  
© Издательство Ивана Лимбаха, 2000-2001

# Содержание

От публикаторов	6
Дневники Льва Толстого	7
I-1	7
I-2	15
I-3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Владимир Бибихин Дневники Льва Толстого

*Издание второе, исправленное*

Подготовка к публикации

*О. Е. Лебедевой и С. Ю. Невзорова*



© В. В. Бибихин (наследники), 2023

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2023

© Издательство Ивана Лимбаха, 2023



## *От публикаторов*

«Дневники Льва Толстого» – лекционный курс с элементами семинарской работы, прочитанный на философском факультете МГУ в осенний семестр 2000-го и в весенний семестр 2001 года.

«Дневники Толстого и его записные книжки это вспышки озарений, и как человек чтобы быстро что-то записать хватается карандаш, гвоздь, так Толстой первые подвернувшиеся слова. Понятный разбор этих записей даст нуль, единственный шанс – увидеть искру, *всегда одну*, которая ему осветила тьму и тут же погасла <...> В основании всего, в разуме бытия, живого и он уверен что неживого тоже, он видит любовь и поэзию. Эти две вещи сумасшедшие, нерасчетливые, жертвенные, непредвиденные. Жизнь идет от них».

Текст подготовлен на основе распечаток лекций, рукописных записей и сохранившихся файлов; публикуется в авторской редакции, по возможности – с сохранением орфографии, пунктуации и оформления текста. Римская цифра обозначает номер семестра, арабская – номер лекции. Для нового издания исправлены замеченные опечатки и неточности, проведена частичная сверка цитат, добавлены новые примечания (все редакторские комментарии помечены знаком «звездочки»\*, остальные примечания – авторские).

Дневники Л. Н. Толстого цитируются автором по изданию: *Л. Н. Толстой*. Полное собрание сочинений (ПСС): в 90 т. Юбилейное издание (1828–1928). Серия 2: Дневники. Под общ. ред. В. Г. Черткова. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 46–58.

Обозначения дат дневниковых записей автор поясняет (на с. 69, в начале лекции I-4 (26.9.2000)) так: «если я начинаю цитату с даты, то значит привожу запись этого дня целиком; цитируя выдержки, ставлю дату в конец».

При цитировании дневников Л. Толстого автор добавляет свои комментарии, в публикации они обозначаются фигурными скобками { }. Квадратные скобки [] в этих цитатах принадлежат публикаторам дневников Л. Толстого в указанном издании.

При цитировании других источников авторские комментарии помещаются в квадратные скобки []. Все редакторские вставки в основной текст и примечания, а также многоточия в опущенных по формальным причинам местах даны в угловых скобках <>, которые принадлежат публикаторам курса.

Переводы иноязычных выражений в цитатах Л. Толстого даются, как правило, по ПСС.

Благодарим Романа Осипова и Антона Жученко, помогающих нам жить и работать; а также всех, кто помогал готовить текст лекций к 1-му изданию: А. В. Ахутина, Егора Овчаренко, Вардана Айрапетяна, О. А. Седакову, Ирину Берлянд.

*О. Е. Лебедева*

*С. Ю. Невзоров*

## Дневники Льва Толстого

### I-1 (5.9.2000)

В разделе изобразительного искусства XX века новой Третьяковки, за исключением может быть только Кандинского, который часто отсутствует (гастролирует), Малевича и примитивистов, после 1917 года почти всё беспросветно. Разрозненность, одиночество, нет обещания, движения, будущего. Крик или жалоба, и больше глухой ужас. Природы в русской живописи уже нет почти совсем с 20-х годов, т. е. с ее уходом глядевшие глубоко художники согласились уже тогда.

Церковь, светская и духовная, осудит этот упадок. Она минует тем самым Христа, чью ляжку как может тянет художник. На его стороне захваченность, пусть черным экстазом. Ею богатый, он гнушается соглашать, улаживать.

Мы смотрим еще один новый фильм о Христе, дорогой. Безумие эроса картинно не изображается, потому что режиссер и оператор не безумствуют. Одержимый, бесноватый, яростный остаются на экране поэтому иллюстрацией к тексту. Не безумствуя, жалко своих костей, они так удобны, удобнее авторучки. Примириться, убедить себя в необходимости гражданских похорон, помнить об общей судьбе смертных невозможно. Подарить свои кости можно только в экстазе, бросить их только в безумии. Услышьте в Евангелии нервное, страстное, дикое, влюбленное существо, конечно в теплой давней эллинско-иудейской среде, – нетерпеливое и делающее неуместным позднее благочестие евнухов. Ориген евнух в этом смысле: отнявший у себя то, на что всё равно был уже не способен. Тем более те, кто шли за ним после него.

Сейчас теснота, темнота, одиночество. Все подорваны, ни у кого не получилось. Чужая сила помогает, механически поднимает тело с постели, надо думать, в большой гроб. Смерть не подорвана, она остается безусловной правдой. Все века человечество было внимательно к еде, сну, смерти, рождению, к одежде, слову, поведению, ритуалу. Много есть независимо от настроения мы начали сравнительно недавно. Рабочий день размечен паузами для кофе, и когда мы забываем о еде, то это потому что всё, что мы делаем, приведено в ритм с едой. (Американские биологи сделали запоздалое открытие: человек будет жить до 120 лет, если у него отнять запах и вкус пищи.) Мы беремся за вкусный кусок от расстройства. Как говорить теперь о я, что оно такое, если оно может менять себя. Как не я распоряжался куском, а кусок мною, так этому я никогда не удавалось остановить соскальзывание в сон: начав что-то видеть, я обязательно засыпал, и мужественное намерение не закрыть глаза только упрочивало сон. Сейчас у меня уже нет никакой надежды остановить кусок и сон, а ведь вся моя надежда в этом только. Снова и снова я выставляю руки остановить катящийся камень, вместо того чтобы признать и отступить. Я заглядываю в сон якобы чтобы увидеть, на самом деле чтобы уснуть, там сладко. Я один раз ускользну туда и уже не вернусь.

И еще. Все века, как берегли кусок и сон, так полагались на молитву. Я всегда хотел от молитвы сразу большой выгоды, не терпел ее так, не держал ни минуты. Едва заглянув в богатства, я себя вижу одним распорядителем и хочу торговать в обмен на деньги, вести оборот. Смысла в молитве я не вижу.

Что одно, среди наводнения, совершенно ясно: что корабль веры держится чудом, верой, сам собой. Поступок поэтому условная вещь, безусловны всё-таки одни глаза, если они видят не только днем. Некоторые вещи, силы природы, действуют неостановимо, борьба с ними сомнительное занятие.

Общая скверность идет отсюда, от верного ожидания неудач и от неизбежности навредить, напортить. Надо прибиться скорее к уверенному, успешному, идущему: подскочить к строю, включиться куда все, ведь не может быть, чтобы все ошиблись и шли не туда. Это встраивание и всегда было, но *сейчас* оно становится правилом. Собравшееся большинство открывает себя тем способом, какой только доступен большинству: смотреть крупно, не замечать меньшинства, мелочь, «кошачий концерт». Когда людей в коллективе много, они скорее любезны, особенно дамы. Они служат, сделают что надо, выдадут деньги, сделают и больше, пока скользят в проложенных рельсах, но иначе вне рельсов, в грязи и в неизвестности. Страна вокруг островков обеспеченности остается поэтому неухоженной. Такими рельсами была религия: пойти в храм, венчаться, сказать, вспомнить молитву. Но прямо рядом с этими рельсами оставалась своим процессам глубокая грязь. «Высокая духовность русского народа». *Сейчас* разница: ты в расписании среди компьютеров, привыкая к нерешению нерешаемого, или на открытом ветру. Остается после установления большинства досаждать вопрос о качестве, но он трудный, и его можно обойти, приняв основное решение: все равны, никто в конечном счете не лучше других, и кто будет судить. Решив так, большинство задыхается в самом себе сразу. <...> Гениальный музыкант, композитор и <...> талантливая поэтесса, спутница в творчестве. Забота <...>, восстановление духовной иерархии в стране на почве признания истинных ценностей. Они обращаются к власти с предложением исполнить на праздник грандиозное произведение, подразумевается, что о Христе и духе, изливающимся и расцветающем. Спрашивается, зачем им это нужно. Труднее видеть, как им теперь от этого отстать. Духовность, божественное, поминовение жертв, возрождение. Почему и меньшинство тоже выглядит жалко? Потому что с самого начала оно не решилось быть в меньшинстве, заглядывалось на всех, не стояло на своих ногах.

Стоит то, что вынуждено есть и пить, только когда в этом есть предельная необходимость выживания. Не стоит, не может стоять и не будет стоять то, что ест и пьет без крайней необходимости и живет для обеспечения себе этой возможности. Между этими и теми прекращается надежда что-то сказать: первых не могут слышать, они могут только показать; среди вторых, где ясно, что человек должен сначала обеспечить себя едой и питьем, а потом говорить и думать, обеспечение еды и питья предшествует мысли и никогда не кончается, потому что в этой деятельности нет необходимости, которая только и может быть пределом. Сытость не предел, потому что при едении без необходимости цель не сытость, а бесконечное обеспечение возможности есть. Не прикоснувшись к необходимости, в принципе невозможно отличить настоящий голод от зависти к тем, кто ест.

Прибитые дамы и толстые молодые священники, открывшие мазохистскую жилку в этих дамах, уверенные от знания человеческого несовершенства и всем телом давящие силой этой правды, что люди несовершенны. Когда давишь, подавленные встречают это с пониманием и охотой, и давящий начинает чувствовать тоску по улаженному человечеству и любовь к нему такому, какое могло бы стать на молитву правильно. Но такого народа нет, и у него сильнее любовь к нему, далекому, до страсти. Ты собрался было жить, но тебя достанут, уличат, осудят, укусят: ты неправильный, не такой, какой должен быть. Поэтому сам *ты* жить не будешь.

Всё перебито неспособностью быть в разных местах, делать одновременно и быстро разные вещи. Отсюда неуверенность, что ты сейчас делаешь то, что нужно. Поэтому, странно сказать, мера твоей неуверенности – она же мера участия во всеобщем. Если не бояться знать, видеть.

Бунин, «Деревня». Ожидание, неустроенность, духовное терпение. Срыв его, переход в физику, дает историю последующих десятилетий, т. е. прочитав Бунина не надо было, не обязательно проживать этот двадцатый век. То же накопление энергии и тот же срыв *сейчас*. С автоматизацией механизмов деревня меняет форму на более гладкую, но упоение холодностью сохраняется то же, та же жадность до людей-рабов, то же сламывание хребта, жгучий интерес к

жизни и ее испытание, эксперимент. Успокойся, действуют силы сильнее тебя, говорит Бунин, и само это признание, внимание всё меняет. Только оно может что-то изменить.

Хитрый зверь, вцепившийся в небо и землю, хотящий жить, извернется и в смерти. *Как*. Всё дело в этом. Что добро идет Богу в дело, что берет верх правда, что мы им служим, это было наше суеверие, как мы и подозревали. Надо уйти скорей. Этого ждут. Не через недели, а *сейчас*. Прекратить совсем нажим, расчет, волю. Ни малейшего соображения о моих обязанностях, абсолютная уверенность, что я на самом деле никому не нужен. Если бы я всерьез попробовал быть нужен, я сначала искал бы именно здесь, в тихом уходе. Допустим, я уже не тревожу людей планами. Но я занимаю место в воздухе и на стуле. Я бы его освободил. Всё на самом деле так просто. Если дышишь с утра, вытаскивай ложки, сегодня, и всё. Если не дышишь, не терзайся неоконченным, это смешно. «Неоконченный роман». А если бы ты его окончил. Не больше ли в неоконченности правды, красоты большой картины. Как есть, ты приготовил; лучше, стало быть, не смог; и довольно. В заглядывании вперед есть порча, увливание от дела под руками. Примешивается представление о помощи Бога большой судьбе. Даже если сейчас пока твое предчувствие будущего оправдывается, потом оно обязательно не оправдается и придется признаваться в ошибке. Не будет торжественного закругления, а будет внезапный обрыв, как ломается ветка от ветра, который ей был до этого нужен. Мои предчувствия, которые меня никогда не обманывали, почему я ими и гордился, меня обманывали и держали в тюрьме тем самым всегда. Своему ощущению, что они суеверие, я не верил.

Хотим ли мы на самом деле свежести, чистой полосы жизни? Такое желание не может быть базовым, потому что сама жизнь не первична. Не странничество при жизни, а жизнь при странности от самого начала. Исправить жизнь во всяком случае нельзя, можно только начать новую. С каждым куском еды начинается новая. Или она уже не начинается совсем.

Ты не знаешь по совести, что такое на самом деле слово, λόγος. Если мы договорились до того, что жизнь складывается вокруг странности, то странность же и слово, слышное пространство, она же и речь как луч. Или проще: не так ведь всегда было, что интимное в темноте оттуда диктовало, а всё разворачивалось в меру открытия сторон странности. Слова, которые ты слышишь про себя, решают, тем более что ты не решаешься произнести их даже про себя и тем более написать.

Проблема в том, как мне достучаться до меня, в простом смысле, попросить меня что-то сделать, не переждать, не напиться лишнего. Надо хотя бы не переставать удивляться сначала себе, тогда не останется времени удивляться другим, и чужая неприступность растает. Тогда все другие станут говорить тебе, в твою бездарность, и помогать выбраться, как Раджнишу нечего было дать людям, кроме нужды в них, – своей, такой острой, что он не мог без них. Ты видишь себя косым сонным зрением держащего заключенного в тюрьме и самим этим заключенным. Это двойное зрение спутывает карту и календарь, возвращает всё из вставания в метрику, оставляя без привычной ориентации, хотя конечно становится не видно, что ты делаешь и чего хочешь, где работаешь. Например, что ты делаешь. Хочу спасения. Где оно. Только в необеспеченной мысли. Почему так. Я не знаю. Ригведа, которой занимались прошлый семестр<sup>1</sup>, может быть последний остаток (церковное ритуальное закрепление) не записывавшей себя мысли. Показать может только долгий разбор, опора на близкое необходима, и я хочу найти ее у Льва Толстого, и по причине, которую я скажу, прежде всего в его дневниках.

Необходимость простоты, чтобы не запутаться, представляется сразу. Главная помеха простоте – боязнь подставиться, показаться наивным. Толстой не боялся сравниться с народом. Оглядка раздваивает. Она же и показывает, что дела в руках собственно нет. Выход на сцену предполагает дело, и когда дела в руках нет, делом оказывается именно простота. Предсказание, расписание не наше дело. У нас всегда как бы только один день. Или еще точнее. В Ригведе

<sup>1</sup> См.: В. В. Бибихин. Грамматика поэзии. СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2009.

мы встретили явственное неразвертывание метрики, пространства и времени. В. Н. Топоров говорит, что в России компьютер мог прийти и 1000 лет назад, и всё было бы в порядке, и, наоборот, еще через тысячу лет. Греция, думает он как я, скользнула уже в запись, т. е. *раньше-позже* и на нём начала располагать ленту событий. В греческой культуре уже не наблюдается слой, который соответствовал бы Ригведе, кроме отчасти Пиндара. Время не собирается, а вбирается в момент предельного усилия, которое потесняет смерть. Век-вечность, эон – жизненная сила, не отменяемая смертью<sup>2</sup>. Вневременность будет вывертываться и переходить в безвременье. Безвременье данность, ранний простор не данность, он добывается успехом, ради него всё, потому что он, когда достигнут, может уже вместить всё. Он никому ничем не обязан и ни от кого ничего не ждет. Он начинает и ведет.

Тело в метрике тает, всякая еда как яд, который оно наивно принимает, потому что он сладкий. Оно садится за еду, собственно, умирать. Его части, большой, уже нет, как у калек, потерявших ноги. Не случайно тело при этом хвалится своей целостью, здоровьем, получаемым от еды. Оно рано хвалится и неправильно думает о прибавлении веса. В предельном усилии оно растрачивается как никогда и, наоборот, возвращается к вечности, выходит из метрики в топику и становится местом для всего, в том числе для любой метрики. В предельном усилии принятое расставание с телом соединяется с его возвращением. В конце концов ему решительно говорят: если ты не идешь со мной, я пойду дальше без тебя. Допускают, что тело может опуститься в обморок, я без него в тумане отплываю. Я могу бросить себя и надеяться, что меня подхватит свое.

Приятно садиться или ложиться умирать. Это хорошее алиби для лени. Упиваясь таянием тела, ожидая теперь уже только чуда, утопая в лени, радуясь алиби. Труд кажется ненужным и невыполнимым. Он должен идти до развязывания узла настолько раннего, что он идет до первой вязи. Самые интимные вещи оказываются там, из всего на свете, где личности уже всего меньше, где род, генетика, личности всего меньше принадлежащая, и именно ею она гордится больше всего, растрчивая совсем чужой банк. Ты сидишь уютно развалишься и занимаешься колдовством, определяешь сам себе, как должен сложиться трудный разговор с самим собой. Нужно знать, что ни усталость, ни смерть не алиби, работай по обстоятельствам, только чего? Разве жизни, достатка, выгоды? Это уже нет.

Рано или поздно встречает другой пейзаж, сложный, но без метрики. Как в детстве, нет имен и четких лиц, больше линии сил, направления движений, смещений, угроз. И второе, всё тонет в безысходной тревоге, нет удобных, опорных или хотя бы фиксированных мест. Всё уходит и раньше детства, в движение клеток, химию тела, с риском сбоя всего автомата. Пейзаж по мере знакомства с ним перестанет разве что очень пугать, но не больше того: освоиться в нём нельзя. Здесь встреча с настоящим другим, когда по Ригведе 1, 164, 38:

Бессмертный – одного происхождения со смертным.  
Эти двое расходятся постоянно, направляясь  
в разные стороны.  
Когда видят одного, не видят другого.

(разбиралось 25.3.2000<sup>3</sup>). Восстановление другого как безусловно невидимого. Чем больше он возникает, тем больше невидим. Если идти таким путем, ничто сделанное не будет другим, чем созданием этого другого. Таким созданием другого было развертывание войны и мира у Толстого. В отличие от своих вещей, которые он хотел читать, при первом написании

<sup>2</sup> В. Н. Топоров. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. Москва: Наука, 1990, с. 37.

<sup>3</sup> См.: Бибихин В. В. Грамматика поэзии. Новое русское слово. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009, с. 186.

и в измененных редакциях, в других домах и в своей семье, дневник Толстого писался не для чтения другими и оберегался от других, в том числе от жены. В одно и то же время он многократно читал «Крейцерову сонату» в семье и гостям и записывал в дневнике вещи не для прочтения. Его художественные вещи вписываются в ткань культуры, в дневнике он обращается напрямую с собой. Сам он не он сам без этого глядящего в дневнике на него самого, между ним самим и глядящим на него поддерживается *странное* пространство, очищающее и развертывающее его. Эта странность, уже говорилось, вмещает всё. На переднем крае ее сохранения я боюсь, прячусь, хочу заснуть, прячусь в повторение той же фразы, схемы, лексики. Кто имеет здесь хорошую тактику, проигрывает в стратегии. Обеспечение куска хлеба сбивает на присоединение к большинству.

Обеспечение начинается не с обеспечения запасов, потому что их явно отберут. Предприятие обеспечения держится на верности, например подчиненного своему шефу. Верный подчиненный обеспечен своей верностью прочнее, чем любое материальное обеспечение. Служба чистоты, начиная с интимного, выверяя себя, строит ограду, надежную охрану своих, начиная с границ, образуя костяк снаружи. Только после этой ограды верности внутрь этого панциря забирается всё ценное, как земля, недра, культура. Всё это материальное богатство обеспечено верностью. Но верность должна быть поддержана привязанностью, хотя верность сама по себе привязывает как хорошая вещь, но в конце концов привязанность распоряжается верностью, а не наоборот. Верность не может поддержать обеспечение, если не поддерживается привязанностью. В этом смысле красота первична, и только она дает заказать себе жизнь от нуля, выкраивая ее из целого.

К сожалению, чаще всего понимают достоинства верности, особенно для дела обеспечения, но не понимают зависимость верности от привязанности. Призывая к верности, священник, молодой, с узко поставленными глазами, хорошим голосом и пением, ровной речью, говорит: «Надо направить свои стопы в храм». Скорее покой и согласие, рай. Беззащитный, зависимый, послушный работник, терпеливый, красивый, привязан к красоте верности, но он не знает другой захваченности кроме как ею, и обычно ради обеспечения, которое она дает. Попытки этого рая поддержать себя изнутри замыкают его в тюрьме.

Возвратимся к вопросу, что нас захватывает больше, чем есть, жевать, не только пищу, не обязательно вкусное, но поглощать массу мира. Еда приземляет, как деньги, как дети и семья, иначе я улечусь. Мне станет странно, я потеряюсь. Я привык находиться в еде, деньгах и бытовых обязанностях. Я привык к этому устройству мира, которое я критикую, и к своему телу. Пора давно отвыкать. Очертания мира пройдут и иначе, круче, с другой скоростью, от которой закружится голова. Моя забота уже мало что изменит. Уже сейчас надо попробовать остановиться без опоры в безвоздушном, среди господства уже *тех* сквозных линий.

Поэтому надо радоваться болезни. В ней физикохимия тела показывает себя. То, что плавно шло в автомате, сбивается, сбивает сначала соседние части на то, чтобы оказаться механизмом, потом и те, которые охранены обычно взаимопомощью от сбоев. Я должен помочь ей как могу, если могу. Часто не могу, потому что я сам привесок к этой физикохимии и теряюсь, иду к врачу, т. е. подаю свое тело уже как машину. Врач мало может, он отрезает, заменяет, упрощает и выдает тебе уже машину, не автомат, обратно в режиме, приспособленном к твоему новому смирению, согласию управлять машиной. Но физикохимия исходно не мной была налажена, я в ней, ее автоматом, сбился, поскольку был подхвачен движением родовой жизни, и эта жизнь прорывается сама себе через меня, как знает и умеет, целью имея вовсе не поддержание механики, а именно только свою полноту.

Пока я это думаю и говорю, суета большого антропоида успокаивается в движении руки по бумаге и в речи. Эта суета странно служит жизни, только не ошибемся, опять же не моей, а другой, которая рвется к своей цели. Я тут ее врач, сначала избавляющий ее от меня, обузы. Надо различать этих нас двух, и любой строгости различения тут будет мало. Каким чудом

движение руки по бумаге, или изобретателя по схемам, должно служить цели жизни, я не знаю, дальше упрямства в сохранении странности другого я здесь пойти, наверное, далеко не могу. Я могу позаботиться о том, чтобы движение руки по бумаге не забыло о своем странном начале, чесотке антропоида и сбое физикохимии. Где это начало, там еще не конец. Цель еще как-то говорит о себе, она одна собственно и говорит. Она ищет, и она, опять же, не поддерживает механизмов, в разложении на которые автомата я виноват. В болезни цель особенно дает знать о себе. Вообще неясно, была ли бы жизнь без боли. Кант заметил, что тело избавляется от боли только в смерти, и хрип умирающего это облегченное распускание, снятие боли. Косность, с которой можно справиться только через боль, входит в игру для широты размаха. В конце концов ей будет отдано всё по согласию. Причиной для согласия, может быть, будет уход с поста, решение об этом будет принято тем, кто так или иначе не появляется и не зависит от черт на бумаге. Он может, попросившись, снять сторожа и, решив сложить тело, растаять в невидимом, неметрическом.

Он высшая инстанция жизни. Как он, прадревний, оказался начальником жизни, молодого, эона. На правах судьбы и сторожа. Он мудрость молодого, делает его не слепым. Как старик сумел угадать молодого, призвать его к подчинению. Старый и молодой сходятся во вкусе к настоящему.

Мы начнем с дневников шестидесятилетнего Толстого. Они настраивают на строгость размахом, силой. В присутствии Толстого уже трудно отступить, оно поддерживает сейчас как живая спина. Там работает упрямая воля, пробивающаяся к одному, невидимому, с уникальной зоркостью. Она работает как среди слепых, один из которых сам Толстой. Он копает уже там, имея сорокалетний опыт, где о мнении других и впечатлении на них давно не думают.

Помню то доброе чувство, по к[оторому] я не боялся, что меня осудят за ошибки. Я знал, что больше доброго, чем злого, что от сердца доброго исходят слова добрые, и потому не боялся зла и не боялся осуждения и теперь в хорошие минуты не боюсь. Если бы это было, то это б[ыло] бы высшее благо – юродство (12.2.1889 // ПСС, т. 50)<sup>4</sup>.

Эта небоязнь подставиться – часть общего отказа от обеспечения, «жизнь христ[ианская] в полном отречении от собственности, безопасности» (30.3.1889), и шире, от я вообще.

Здесь не аристократ, который обеспечен, а опять же зоркость видения, к чему ведет обеспечение. «Зачем живут все эти люди? Смерть, равно как и на мне часто» (23.5.1889).

Люди, не воскресшие к жизни, заняты всегда и всё только приготовлениями к жизни, а жизни нет. Заняты едой, сном, учеьем, отдыхом, продолжением рода, воспитаньем. Одного нет – жизни, роста своей жизни [...] Вся плотская жизнь организма с ее пищей, ростом, продолжением рода есть по отношению истинной жизни (растущей) только разрушительный процесс. (30.5.1889)

Пишущий дневник приставлен к делу, которое по любым меркам другое, чем забота о своем таланте и славе. Он тянет лямку сам, не ища помощи у других и у себя самого как знаменитого писателя. Он как один в штольне, как поставленный всю проходку сделать сам. В дневниках не то что великий русский писатель еще имел свойство вести записи о своей жизни и работе, а была неведомая инстанция, в нее мы должны еще взглядеться, перед которой стояла в первом лице русская литература. Когда тридцатилетний Толстой записывает о себе, «я вырос большой», говорится с удовольствием, потому что иметь дело с крупным интереснее, чем с

<sup>4</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное издание (1828–1928). Серия 2: Дневники. Под общ. ред. В. Г. Черткова. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 46–58. <Т. 50: Дневники и записные книжки, 1888–1889.>

мелким. И явно больше того, при мелком не было бы этого зрителя, этого дневника, или зритель мелким занимался бы не так. Хотя дело у него было бы то же. Художнику этот делатель не позволит ничего, чего не одобрит. Но он ему разве что-то запретит? И не позволит, и не запретит. И не предпишет, не продиктует. Но одновременно направит. Из этих отношений между художником и пишущим дневник мы пока определенно знаем только одно: что пишущий дневник даже подтолкнет художника выступить на свету, показать, прочесть перед людьми сработанную вещь, а сам пишущий дневник никогда не выступит на свет. Тело с речью пишущий дневник тоже подтолкнет, поощрит поступить, двигаться, терпеть, но сам с собой ничего не делает, остается тридцать и пятьдесят лет тот же самый, неподвижный, нетерпеливый, не терпящий.

«Я вырос большой», замечает и говорит с удовольствием, как о ребенке, пишущий дневник, чего сам о себе большой писатель не скажет. Пишущий дневник тоже занят ростом, ростом жизни, и был бы занят ростом и в том случае, если бы не вырос в большого писателя. Росту жизни, он считает, рост тела скорее вредит, чем помогает. Вредит почти что или безразличен для роста жизни и рост писателя: пишущий дневник может запретить телу много есть и писать большие художественные вещи, ради роста жизни. Рост жизни происходит поэтому не попутно с делами тела и человека среди людей, а часто поперек им и против них. Так? Или сказать, что жизнь прорастает через всё, через тело и через писательство, и за этим смотрит как зритель, теоретик, пишущий дневник? Он как зритель, теоретик жизни встает в отношение к другим учителям, к философии, религии.

*Любовь* у Толстого частое, и в разговорах о нём часто единственное остающееся, но не единственное у него имя закона роста жизни. Он записывает о Прокофии Власовиче Власове, крестьянине деревни Ясная Поляна, который участвовал в беседе Толстого 1886 года с французским писателем Полем Дерулэдом, о чём в статье Толстого «Христианство и патриотизм», гл. IX:

Еще поразила меня, не помню всё, деликатность Прокоф[ия], подумал: ум, дарованья даны не всякому и неравномерно, но понимание чувств людей, улыбки нахмуренья дано всем, и малоумным, и детям, больше чем другим. (7.7.1889)

Все дары духовные, как то: рассудок, таланты, грация – распределены между людьми неравномерно и могут быть и не быть. Одно всем равно и присутствует одинаково у всех – и у глупых и у детей еще больше, чем у умных и старых: это деликатность, внимание, ласка, именно то, что одно нужно для единения людей. (Записная книжка № 2, 8.7.1889)

Талант так же привлекателен, как здоровье, бездарность так же непривлекательна, как уродство, болезнь. Но рост жизни имеет целью не поддержание здоровья и преодоление уродства и болезни; если жизнь хочет по-настоящему расти, она должна уметь вобрать в себя для своего роста и болезнь и уродство, точно так же и бездарность и духовную нищету, должна уметь, и пишущий дневник требует это, учит этому.

Ты страдаешь [зачеркнуто: и боишься]. Это от того, что ты заснул и забыл, в чём жизнь твоя. Она только в установлении Ц[арства] Б[ожия] на земле, установлен[ие] же толь[ко] чер[ез] [рост твоей духовной] сущности. И то, что ты называешь страдан[ие], есть только поощрение росту, как гроза растению. Соблуди только чистоту в твоей животн[ой], смирен[ие] в мирской и любовь в Божеской жизни при тех условиях, к вызвали в тебе страдание, и ты увидишь, как то, что ты называешь страданием, превратится в радость сознания, увеличения жизни.

Радуюсь лишениям  
унижениям  
враждебности. (Записная книжка № 2, 16.7.1889)

Для соблюдения же чистоты тебе нужны {!} лишения, для смирения нужны худая слава и унижения, для любви нужна враждебность {!} к тебе людей (и если любите любящих вас, какая же вам... и т. д.). И потому то, что ты называешь страданиями, то, на что ты жалуешься, чем тревожишься, о чём горюешь, чего боишься, всё это ничто иное, как или лишения и боли, или худая слава, оскорбления, унижения, или враждебность к тебе людей; а то и другое и третье необходимо тебе [...] Нельзя ответить, будет ли возмездие на том свете или нет? [...] Вроде того, как если бы люди ленивые, голодая от праздности, спрашивали бы, будет ли им награда на том свете [...] Работа, дающая хлеб, есть необходимое условие животной жизни. Точно так же надо понять, что перенесение лишений, унижений и враждебности есть необходимое условие жизни духовной. (17.7.1889)

Учением жизни было христианство. Конечно, крещеное священство как новое шаманство заняло все места старых культов, язычества, иудаизма, католичества, со смещением в сторону упрощения и с санкциями власти, т. е. со снижением уровня и с встраиванием в монархию. Почвенная стихия, колдовство, тихое, льнущее к земле, лесу и к воде, к болоту, не могла измениться. От христианства как истинной религии православие, Толстой прав, дальше, чем та религия, которая была до него. Тексты, на которых стоит православие, остаются в нём как бомба замедленного действия и делают свое дело. Они были закопаны переводом, но и через него проросли. Толстой реформатор-восстановитель, как Лютер, христианства против православной языческой религиозности.

## I-2 (12.9.2000)

Писатель за это время писания дневника менялся, возник, вырос. Темы, лексика зрителя менялись, но как зритель он остался тем же самым через 50 или 60 лет. Начинаясь, он имел главной заботой подъем и падение, и та же забота спустя 60 лет. Чтобы замечать подъем и падение, надо знать верх и низ. Рост жизни, о котором забота зрителя, идет вверх. Ни разу за всё это время пишущему дневник не довелось усомниться, что верх и низ есть (о верхе и низе у Платона «Правда» 29.9.1999<sup>5</sup>). За это время он много раз слышал, в университете и читая научные книги, что верх и низ относительны. Заметим черту Толстого: ни разу он не колебался в отношении науки, всегда был уверен, что она права только внутри своего суженного зрения, т. е. к правде отношения не имеет и правду затронуть, шевельнуть, например правду, что в бытии есть верх и низ и что рост жизни настоящий идет вверх, наука никогда и никак не может. Поэтому бессмысленно спрашивать, откуда и как Толстой знает, что есть верх и низ. Для него, скорее, верх и низ знают Толстого, когда он вверху или внизу. Не верх и низ при воззрении Толстого, а Толстой при верхе и низе, он есть в подъеме, он разрушается и гибнет в падении. Внизу Толстого нет. Толстой это воля быть вверху. Вопрос, принимает ли он меры, чтобы быть там.

Этой воле интересно иметь дело с крупным. Толстой большой в искусстве, и в той мере, в какой воля быть вверху оживляется, просыпается от крупности того, за чем она смотрит, искусство Толстого служит этой воле, дает ей дышать. Питает, подпитывает, бодрит эту волю как энергия. Но иначе как через питание воли зрителя искусство вверх никак не ведет, за верхом следит и его обеспечивает ревниво только зритель. При гибком, радужном искусстве он страшный однодум. Ему, конечно, может показаться, что искусство на самом деле движется или указывает вверх, может показаться, как в «Крейцеровой сонате», что совсем наоборот, но спрашивать у искусства или еще у кого-нибудь, среди этих своих сомнений, где верх и где низ, зритель никогда не будет, он в конечном счете сам один окончательно решит, что подъем и что падение.

Можно ли сказать, что зритель односторонний, как наука, и ограничивает, суживает мир? Его акты сведены до логической операции полагания и отрицания, *modus ponens* и *modus tollens*. Но сказать, что он, как наука, суживает, нельзя: всякое полагание зрителя это целое полагание или полагание целого мира, всякое отрицание тоже целое. Полагая, т. е. признавая верх или рост вверх достигнутым, зритель утверждает через этого растущего одобряемого Толстого весь мир, и наоборот. Без Толстого мира нет или он, во всяком случае, не целый, уж ни в коем случае мир не может быть вверху, если Толстой пал и внизу, такой треснувший в месте Толстого мир никому не нужен. Зритель Толстой не редуцирует мир, сводя его к *inter-esse* между верхом и низом, как Витгенштейн не редуцирует мир в своей логике. Всю связь с Витгенштейном оставляем до напечатания моего «Витгенштейна», где ее можно будет прочитать<sup>6</sup>. Логика Витгенштейна можно считать философской транскрипцией Толстого. О своем заражении Толстым Витгенштейн мало говорит именно потому, что *показывает* на всём, что он говорит.

Пусть кто-нибудь скажет, что знать, как только и хочет знать зритель, вверху или внизу вещи, это слишком мало знать, о вещах можно знать и больше. Об улитке можно, например, не только знать, вверху или внизу она лестницы живых существ, но и можно подробно

---

<sup>5</sup> Курс «Правда (онтологические основания этики)», осень 1998 – весна 1999, в настоящее время не опубликован.

<sup>6</sup> См.: В. В. Бибихин. Людвиг Витгенштейн: смена аспекта. М.: ИФТИ св. Фомы, 2005. См. также: В. В. Бибихин. Витгенштейн (лекции и семинары 1994–1996 гг.). СПб.: Наука, 2019, 1-я лекция (6.9.1994).

описать ее на больших листах бумаги. Это неверно. Мамардашвили не прав, если он думает, что на более подробном рисунке мы будем больше знать об улитке. У Толстого есть места философского или, еще точнее, витгенштейновского звучания.

*Мы не можем ничего знать о том, что есть, а можем знать верно только о том, что должно быть.* (24.10.1890<sup>7</sup>, курсив Толстого)

Это верно в строгой гносеологии, кроме того что сформулировано на редкость точно, лучше, чем у Эрнста Кассирера: «мы можем знать только то, что сделали сами». Это верно в этике. Важно, что это, кроме того, имеет у Толстого конкретное наполнение: *что должно быть* сказано не формально, в смысле возможности подставить на это место что угодно по ситуации, а содержательно, именно о движении вверх как единственном должностовании. Двигаться вверх – наша единственная обязанность («должно быть одно, движение вверх»); только это должно быть, только об этом мы можем верно знать. Оно же самое необходимое, первое знание.

Много знаний разных, но одно важнее и достовернее всех – знание того, как жить. И это-то знание пренебрегается и считается и неважным и недостоверным. (Там же)

Важным может быть и знание, которого у нас пока нет. Но достоверным можно назвать только то, которое у нас уже есть. Знание жизни это знание, что наше дело, единственное, двигаться вверх. Движение вверх, стало быть, конкретно понимается как самопонятное, от которого оттягивают, которое затемняют только явные ошибки, как пристрастие к еде, к телу, своему и другому красивому, зависть, власть. Стоит этим помехам ослабнуть, и человек выходит как из сплошного тумана на солнце, его глаза, ум уже не путаются сами в себе, его ошибки становятся ему прозрачны. Что вы думаете об этом? Толстому в каком-то возрасте удалось преодолеть порочные страсти, они перестали его ослеплять? Совершенствуясь нравственно, он достиг успеха и, при том что другие люди и многие вокруг него всё еще оставались в слепоте, он благодаря проведенному над собой труду сумел не только понять, но и принять истинный закон жизни, и тогда стал звать других на свой путь, приглашать других на те же ступени совершенствования, на которые сумел подняться сам? Да?

Вот уж вовсе нет. Ничего подобного на самом деле вовсе не было. Не было совершенствующегося нравственного Толстого, который благодаря вегетарианству и воздержанию достиг прозрения и с обретенной высоты – ведь он поднимался вверх – учил страну, народ. Было человеческое создание, сумевшее вынести странность расстояния между собой и самим собой.

Физикохимия, биология и психика даны каждому, какие даны. Назовем то, что мы видим у Толстого и что мы называли смирением, *теорией*. Это важное переименование. Теория понимается по-разному, давайте вернем этому слову осязаемое значение. Будем называть теорией то, что происходит с Толстым: присутствие себя как другого, другого себя, или просто присутствие (Da-sein, бытие-вот, показанное и выступившее в свет бытие, тождественное просвету, пространству). Давайте возвратим слову *теория* феноменологически строгое значение, всё-таки наконец отбросим все туманные фантазии, которые навевают неопределенное выражение «созерцание» (что это такое, скажите на милость, вы знаете? Я не знаю. Уверен, что и говорящий это слово тоже не знает, или воображает себе какую-нибудь чушь вроде вдохновенного глядения куда-то в платонические высоты), или «умное зрение», при котором опять же начинают воображать себе какие-то другие глаза, которые видят невидимое. Вместо всех этих плаваний в грязном тумане будем опираться на то, с чем можем иметь дело, на опыт Толстого, его полувековое или много больше присутствие при себе. Удобно и то, что мы возвращаемся при этом к исходному важному и серьезному смыслу слова *теория* – присутствие, посещение, связанное с демонстрацией. *Теория* – посольство, или депутация; *теорейн* – при-

---

<sup>7</sup> ПСС, т. 51.

существовать, преимущественно на олимпийских играх; посылать посольство; устраивать смотр войскам. Торжественность общегреческих игр или военного парада входит в значение слова.

Мы очистили себе это слово, больше не будем пользоваться им бездумно («теория» в современном значении производное, легко устанавливается при проясненном исходном значении). Пока вообще им не будем зря пользоваться, введем уже в новом очищенном значении, когда надо будет. Пока будем говорить, что Толстой смотрит за собой. Как мы уже говорили, есть за чем смотреть, при такой богатой природе смотрительство в любом случае окупится, дело крупное; как я сказал, при скудной природе, без того размаха, мы бы и смотрительства не заметили. Т. е. богатая природа сделала так, что смотрительство имело смысл и сложилось в такой корпус дневников.

Теперь. Хайдеггер показал, особенно в “Wissenschaft und Besinnung”, смотрение теории плавно и быстро соскальзывает в смотрительство. У него не подчеркнуто, что смотрительство не свободно, от свободного смотрения (теории) оно отличается заинтересованностью в подопечном, в конце концов – в сохранении наличного состава мира. Смотритель жестко или жестче привязан к наличному составу, чем наличный состав зависит от него. Отношение к стране и миру как предприятие сковывает предпринимателя, государство, в большей мере, чем скован сам мир, в конечном счете невидимый и неуловимый. На уровне невидимости и неуловимости только смотритель, теоретик чистый, уровня Толстого. Смотритель, автор дневника не принадлежит у него успеху писателя, не присутствует при богатой природе этого человека, этого тела. Сторож не становится слугой, он не зависит – у настоящего теоретика – даже от существования того, за чем он смотрит: такой смотритель, теоретик, легко упустит свое тело, мир, всё, на что он смотрит, если на подопечном нет санкции. Чьей: его же собственной. Он природе, богатой, природе писателя, человека, не подотчетен. Наоборот, природа на смотре смотрителя, как войско при параде, рискованно зависит от его санкции. *Космос* среди прочего значит строй войска, прежде всего на войсковом смотре. Космос имеет своим составляющим поэтому смотрителя и существует в меру его санкции. Космос и теория – сцепленные полюса. Теоретик или пасет космос, и тогда, как новоевропейская наука, он прикован к его наличному составу и к заведенному им хозяйству в его предприятии планетарном, или он спасает космос, выдавая ему санкцию.

Что у Толстого второе, т. е. что его отношение к его бытию не предприятие и не хозяйственное смотрительство, показывает его уход. Природа (я употребляю это слово в том же смысле, что бытие), включая его тело, здоровье, семью, уклад жизни, не получила санкцию от смотрителя. Чего требовал смотритель (кому хочется, говорите теоретик). Чего сказано: повышения жизни. Что повышение жизни не означает поддержания биологии, психологии и социологии, к этому мы с разных сторон уже подходили и это для нас не новость. Наш вопрос сейчас вот какой. Толкая тело, биологическое, психологическое, социальное, на крайний поступок, смертельный риск, смотритель, автор дневника, требует известно чего, возрастания жизни. Но то, что делает Толстой, идет, едет, говорит слова, поступки того же порядка, какие он делал и раньше, ходил, ездил, говорил слова. По самим новым поступкам, их материи, после ухода не скажешь, что они заведомо возрастание жизни. Очень может быть, что и другого рода поступки, допустим нахождение такого нового отношения к людям, предположим совершенно без малейших споров и упреков, без ухода из дома, тоже подходили бы к требованиям смотрителя, автора дневника. Это не исключено для самого Толстого; уйдя из дома в 1910 году, он не всегда безусловно уверен, что делает единственно нужное. Почему смотритель не подскажет. Невозможно думать, что он знает, но не говорит, чтобы человек сам нашел выход: он проще этой стратегии и зная сказал бы. Он, стало быть, не знает. Он загоняет человека, может отказать ему во всяком одобрении, перечеркнуть всего, осудить строже, чем судья, приговорить (исключить самоубийство в спутанном состоянии ума, мы прослеживаем чистые случаи,

в которых зритель именно судит и запрещает, но не знает что предписать, самоубийство предписывается, следовательно, не зрителем).

Неодобренное, несанкционированное существо ищет, уходит из дома, и если не найдет, стохастически, путем проб и ошибок, принять решение, что делать, не может: некому принять, у несанкционированной природы не санкционированы и ее решения. Движения Толстого после ухода похожи на метания, судороги. То, откуда до сих пор приходили решения и выборы, приемлемые для зрителя, уже не может ничего предложить. При размахе Толстого, мировом, это одновременно тупик планетарной жизни. Что его метания после ухода из Ясной Поляны в 1910 году были не тупик цивилизации, это не очевидно, и прояснено быть может конечно только на толстовском уровне. Где теперь в человечестве есть или может быть такой уровень, тоже не ясно.

Не думайте, что отказ от зрительства, нехозяйское отношение к своей природе (задаткам, дарованиям, способностям), отказ от предпринимательства обделяет природу. Наоборот, интенсивное зрительство за миром новейшей европейской науки скорее проблематично и неясно, способно ли даже сохранить тот наличный состав природы, которым в начале своего предприятия Новая Европа так радовалась: запасам недр, пространствам планеты, потом выходу в космос. Мало кто оставил свою природу, биологическую (подумайте о том, что он продолжал рожать детей в свои 60 лет, увлекся велосипедом под 80 и т. д.), психологическую (огромный круг близких, деятельность), духовную (свободное писательство), как Толстой. Космосу, как я сказал, нужна санкция, а не зрительство. Хотя я оставляю всю тему, брошенную нами в курсе «Грамматика поэзии», за скобками, но, наверное, вы и сами понимаете, что весь мир ведийского гимна окружен зрением как санкцией, т. е. спасен тем, что не превращен в предприятие, как и зритель в нем не превращен в функционера.

Среди всех исторических дилемм и полярностей самая важная – это остается ли человек зрителем-теоретиком, как, например, в мифе и мифологическом обществе, или он соскальзывает при мире в роль предпринимателя, превращает зрение в присмотр.

У Толстого отсутствие присмотра за своей природой видно в его стиле в каждой фразе. Его письмо названо им в его строках о Гомере, письмо А. А. Фету 1...6 января 1871 г.<sup>8</sup>:

Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения.

Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые, хоть и знают, не понимают), в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной, вроде «Войны», я больше никогда не стану. И виноват и ей-богу никогда не буду.

Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уже могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение – отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломающая зубы, – с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом, а тот, черт, и поет, и орет

<sup>8</sup> ПСС, т. 61. Письма 1863–1872, с. 247–248.

во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать.

От отпущенной на свободу жизни он захлебывается. Каждый день новость, и поскольку зрителем не подготовленная, встреченная как подарок, с узнаванием, что происходящее хорошо.

Теоретик не оставляет природу такой, как если бы его не было. В биологическом курсе<sup>9</sup> подробно мы говорили о ведущей роли глаза. Видение, возможность видеть создает пространство, в которое происходит оптимальное развертывание природы. Она тянется к виду не в том смысле, что на платонических облаках запасены идеальные чертежи вещей, а из-за впускающей мощи вида. Он перспективный, и в случае чистоты перспектива предельная. Спорт хороший пример. Слежение за своими движениями создает скованность. Внимание к движению, например изучение скоростной киносъемки, *имеет всегда целью наоборот снятие слежения, высвобождение автомата*. Между слежением и просмотром, можно считать, противоположность.

«Творимость жизни своей силой» имеет прямое отношение к смотрению и как в спорте предполагает сознание, усиленное, внимание, для *высвобождения* автомата от дублера. На серьезной гонке рядом с автогонщиком дублер просто не должен сидеть. Каждое его движение должно быть *свое*.

Думал нынче: в числе тех фасов, сторон, с кот[орых] представляется идеал Христов, есть и тот, что жизнь только в настоящем. Полное достижение его есть прекращение жизни, соединение с Богом – только в каждую минуту соответствие своему положению; удаление от него есть безумная потеря жизни. (25.12.1890)

Прекращение жизни смерть. Смерть требуется для того чтобы началась жизнь «своего положения», в которое входит вся вообще данность. Без смерти идет безумная потеря жизни.

Теперь 8, пойду наверх. Все эти дни грустно, и молитва становится механической. Одно утешает, укрепляет: жить так, чтоб увеличивать любовь в других и в себе – перед Богом. (Продолжение с нового абзаца той же записи)

Любовь у Толстого это снятие зрительства, предпринимательского хозяйствования и возвращение других, и себя, «своему положению». Любовь как отпускание природы и санкционирование ее. Для Толстого жизнь не в понятиях, а в ближних, семейных, яснополянских крестьянах, городских знаменитых и незнаменитых знакомых, в животных. Принять и санкционировать такую жизнь, наверное, трудно, если на каждом шагу и почти в каждом случае мы видим протест и проклятие. Они вбивают жизнь в ее проклятые формы, выручить ее оттуда как вытащить из грязи, промыть, прочистить, подкормить, подбодрить. Толстой на своей позиции как на войне, на передовой позиции, спиной к стене, отхода нет: однажды решив любить, т. е. принять и не проклинать, и наоборот, не взяв на себя решение, что какие-то формы жизни прокляты сами по себе, а не только раздражением людей, он потеряет всё, если не примет чего-то, не даст чему-то санкцию. Принять надо всю природу; его брань, по Евангелию, не против плоти и крови, а против духовных принципов зла.

Нетейоретическое, хозяйственное отношение к природе ревнивое. Ревность здесь прямо противоположна любви до исключения любви там, где есть ревность. Я переадаю, заботаюсь о протеинах. Я стараюсь быть лучше другого, умнее, заботаюсь о своей умственной природе. Я хочу хорошо написать, ради славы, но и чтобы пошли деньги, я тогда смогу на них есть. Я ковыряю в носу, достаю свои выделения, заботаюсь о том, чтобы мои выделения, важные и значительные, вышли на свет и не застаивались внутри меня. Всем этим видам заботы противо-

---

<sup>9</sup> Курс «Лес (hyle)» читался в осенний семестр 1997 г. и в весенний семестр 1998 г. См.: В. В. Бибихин. Лес (hyle). СПб.: Наука, 2011.

стоит только одна любовь как внимательное оставление вещей самим себе, т. е. сначала уверенность, что если вещи отталкивают нас, то нас отталкивает те они, какие сложились в нашем мнении, т. е. уже запертые нами в тюрьме, и извлечение их нами из тюрьмы, в которую мы их сначала заперли, первый шаг.

Почему Толстому должно казаться, что перемена людей от смотpительства к любви возможна и что она вот-вот охватит континенты, сначала может быть Америку в движении обновленного христианства. Так шагнуть казалось ему естественным. Но он же постоянно срывался на бездушие, раздражение, тщеславие.

У Рембрандта польский всадник сливается с пейзажем, не он один только. Рембрандта со всех сторон <окружило>, к нему подступило вещество, которого нагнетено может быть до крайности много, и всё равно для правды обстояния это мало, шанс выплеснуться из его глухоты, темноты понижается. «Аристотель рассматривает бюст Гомера»: философ слеп с открытыми глазами и зря вглядывается в темноту, второй зрячий в своей слепоте, но ведь всё-таки слепой. Непроглядное вещество наступает, обволакивает цветом и массой, его образования всегда и везде выходят из берегов, не поддаются контролю; наоборот, то, что воображалось как независимое отражающее мир я, растворяется в веществе.

Кажется, что вещества у Рембрандта – тела и вещей – нагнетено столько, что доведено до предела и наступит какое-то решение, но нет: никакого диалектического перевертывания не происходит, погружение в вещество продолжается и кончается именно невозможностью выплеснуться из глухоты, темноты.

У Рембрандта видно, что загородиться от вещества можно только иллюзорно, загородив (заперев как в тюрьме) самого себя, допустим мелкими хлопотами, делами, предприятиями, от страха его плотности, от страха нищеты своего я. Еда, в воображении будто бы восстанавливающая я во властном отношении к миру, якобы поедания его, в действительности еще больше топит в веществе. Рембрандт не изменил этой правде, не спрятался от вещества. Его поздние автопортреты, погруженные в вещество, смиренные, надо видеть, помня о раннем романтическом автопортрете, где он мечтает о полете: ему не удалось сдвинуть вещество, но его успех в том, что мало кому еще удавалось так увязнуть в его правде. В этих поздних автопортретах достоинство возвращающегося в землю, *humilis*, смирения.

У пишущего, говорящего это, у слышащих, тело мягко и лениво, оно вянет, но это состояние сытого покоя воспринимается как «созерцание», «теоретизирование», якобы в отвлечении ума от вещества, в «досуге», покое, достигнутом в борьбе с природой, когда тело, которое раньше всегда имело дело с веществом, с пространством, теперь благодаря какому-то высшему развитию вошло в режим чистой мысли, размышления, философствования. Я наелся, я в тепле, мои близкие тоже одеты и сыты, и есть деньги, чтобы пойти и купить питание в магазине. Это иллюзия досуга, мысли, теории. В действительности происходит обман, потому что вдали от моего ленивого тела машины и люди для сохранения этого моего состояния врезались в вещество, ножи в тела быков и коров на скотобойне, стальные трубы в тюменское болото, свинец и сталь в тела других людей, которые покушаются на устройство нашего общества; рвут вещество необратимо, в манере, за которую придется дорого платить, и мне конечно в том числе. В мнимом философском досуге я просто отодвинул в пространстве и времени от себя вещество, собственно немного и ненадолго. Мне скоро оно о себе напомнит. Лучше будет поэтому, если я сам поскорее обращаю внимание на себя, на свое тело, и прежде всего на свою мысль, от которой я бегу, когда занимаюсь «теоретизированием» о «проблемах»: чем плотнее я ими занимаюсь, в академическом предприятии, тем больше затаптываю свою мысль, которая едва уже смеет поднять голову. Академические проблемы и еда – мои узаконенные цивилизацией наркотики, объем и массовое распространение которые гораздо больше, чем у незаконных цивилизацией наркотиков.

От еды я жду удовольствия, бодрости, полноты жизни: этими словами мне разрешили, даже предписали называть наркотический эффект еды, принимаемой без необходимости для поддержания моего сонного состояния без мысли, например в занятии теми же академическими проблемами. Люди, с которыми я на каждом шагу имею дело, в общем в том же состоянии наркоза, иллюзорного благополучия, что и я. С обеих сторон нашего общения под наносным благополучием скрытая, оставленная без мысли, которая подавлена и спит, тоска, вокруг шаткой структуры расписания. Эту скрытую тоску к определенным вещам отнести нельзя, конечно. Средства против нее опять всё те же, выспаться, поесть, загрузить в свое воображение отвлеченные проблемы, например политические, и завести их мельницу. Неопределенная тоска – современная форма присутствия вещества. Обманом оттесненное вещество наплывает этой тоской. Разбираться в ней и ее причинах из-за ее производности (вторичности) бесполезно, бесперспективно.

Любовь как прекращение протеста против мира и расправы над ним не может означать поэтому принятия форм жизни какие они есть, т. е. искаженных. Исправление без расправы – то, что Толстой называет любовью, – дело в его руках, прежде всего делаемое над самим собой, своим телом и умом, и над близкими.

Так? Или я не прав?

Делом Толстого остается видеть, без превращения в зрителя, предпринимателя даже при таком предприятии, как любовь. И вот здесь очищенный нами и подготовленный к употреблению, отставленный на время инструмент оказывается нужен, потому что, я проверил, другого такого же нет: Толстой ушел из Ясной Поляны в 1910 году, сберегая *теорию*.

Та же *теория*, не меняющаяся, всегда одинаковая, по-настоящему захватывала его и за полвека до того, и раньше, ей он принадлежал раньше, чем всему другому. Вот ему двадцать девять лет.

Всё голова болит. Мысли о приближающейся старости мучают меня. Смотрюсь в зеркало по целым дням. Работаю лениво. И в физическом и умственном труде нужно зубы стиснуть. (18.2.1858)<sup>10</sup>

Вглядывание в себя, в упор, до опасности и до страха безумия. Фраза «нужно зубы стиснуть» не означает совет себе предпринимателя о методе ведения хозяйства. У Толстого она означает только описание своего сейчасного состояния. Никакое «зубы стиснуть» его никогда не увлечет, пусть оно увлекает героев труда. Он захвачен взглядыванием в себя и в другие явления природы. Он безусловно в них участвует и опьянен ими, но принадлежит по-настоящему весь только теории. Вся теория сводится к оценке на хорошо и плохо.

Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. (24.2.1858)

Был здоров, сытно питался, много гулял, веселился. В том-то и дело, что всё это было, но «хорошо» относится к другому. Это проясняет продолжение записи:

Старое начало казаков хорошо, продолжал немного.

Одобрение, санкция того, кто смотрит, абсолютного наблюдателя. Я говорю, упоение жизнью и своим ростом продолжается, но теоретик наблюдатель странный, он как беспристрастный отрешенный голос без возраста, древний.

Встал рано. Писал рассказ Еп[ишки] о переселении с Гребня. Нехорошо. Пришел Чичер[ин], Васин[ька], я потею и нездоровится. Гимнастика. Обед в клубе. Всё это мне скучно, я вырос немножко большой. Дома Маш[инька] получше. Я бирючусь немного. – Пошел к себе, написал Алексееву о песнях и Некрасову ответ на циркуляр. Пересматривал еще Музыканта {рассказ

<sup>10</sup> ПСС, т. 48. Дневники и записные книжки 1858–1880.

«Альберт»}. Надо всего переписать, или так отдать. Писал Ерошку. Чихачева. Умная кокетка. Нездоровится. (26.2.1858)

Это скачка, головокружительная. Держит в руках сразу две вещи, которые пишет, болен и занимается гимнастикой, обедает в клубе, одновременно замечает, как перерос свою среду, с Некрасовым участвует в литературной политике, походя оценивает молодую даму, на которой хочет жениться его брат. Что он пишет дневник, никто или мало кто знает. И он сам не знает, что ведет в его жизни не страсть, азарт, талант, а этот наблюдатель, *который ничего не делает, только смотрит на парад*. То, что не вмешивающийся наблюдатель может отменить парад, еще почти не видно, разве что по замечанию «всё это мне скучно, я вырос немножко большой». То, что наблюдатель смотрит спокойно и этим допускает, он санкционирует парад и дает ему развернуться.

Теория, присутствие глядящего при параде, природе, – не еще одно присутствие рядом с другими, не один голос среди других голосов и не голос, заимствованный у окружающих (вообще отбросим неинтересный случай, когда слышны чужие голоса, «внутренний голос» чей-то).

Утром читал {рассказ «Альберт»}, кажется Чичер[ину] и Коршу. Ничего. – Нашли, что ничего. – Ходил оба дни. Вечер, концерт. Глупости наговорил Львовой... (4.3.1858)

Первое «ничего» это свой приговор о рассказе, второе «ничего» мнение Чичерина и Корша, одна оценка абсолютного судьи, другая – независимо – передача чужой оценки без комментариев, никакой попытки сопоставления, хотя бы удовлетворения, что своя оценка совпадает с чужой. То, что они совпадают, даже не замечено. Запись «ходил оба дни», возможно, означает долгие переходные походы, или может быть, что два дня не было запора.

Спешка, сокращение слов до стенографии говорит, что тело спешит жить, наблюдателя отмечает вообще почти только точно, записи далеко не каждый день, летом вообще их мало, в августе 1858-го совсем нет, но потом наблюдатель всплывает совсем тот же как ни в чём не бывало, делает то же, проверка себя, смотрение за собой, оценка на хорошо-плохо, подъем-падение. Внимание к главному. Уже в свои тридцать лет смерть, болезнь, еда, питье, настроение берутся за главные из вещей (не скажем литературный успех, не свои занятия и планы). Хорошо и плохо, верх и низ – постоянно главные оценки, т. е. санкция или нет.

*10 Октября (1859)*. Вчерашнее спокойствие рухнулось. Вчера [зачеркнуто: рабо] писал письма, спокойно распоряжался {по хозяйству в деревне}; нынче пошел на тощак по хозяйству {а давал себе зарок раньше 2 дня в споры с управляющим не вступать} и послал в стан Егора {т. е. к становому для телесного наказания}. Оно справедливо и полезно; но не стоит того. —

*11 Октября (1859)*. С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти вошел в летнюю колею {тогда дневник плохо пишется}. Буду пытаться восстать. Читал Adam Bede {роман Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс), 1819–1881}. Сильно трагично, хотя и неверно и полно одной мысли. Этого нет во мне. Лошади хуже и хуже. Рассердился на Лукьяна.

«Хуже и хуже» сказано сначала о своем моральном состоянии, потом точно так же о лошадях. Меры приняты? «Буду пытаться восстать», в отношении своей нравственности, и в отношении лошадей приняты: «рассердился на Лукьяна». Но как с этими сегодняшними попытками восстать завтра, мы уже читали; а как с распеканием крепостных, тоже хорошо известно. Т. е. не столько приняты меры, сколько и не думая принимать никаких мер наблю-

датель смотрит, возможно зная только, что маятник, если его не остановить в одну сторону, качнется в другую сторону. Санкции падению нет, но и меры не принимаются.

[...] Хозяйство опять всей своей давящей, вонючей тяжестью взвалилось мне на шею. – Мучусь, ленюсь. (16.10.1859)

Т. е. например, что лошади хуже и хуже (об этом письмо А. А. Фету, т. 60, № 151) и надо высечь Лукьяна, но это не мера, или «хуже и хуже» «моральное состояние» (не его язык), и принято решение.

Упоминание вещей означает санкцию им.

19 *Сент[ября]* (1858) [Москва – Ясная Поляна]. Убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел {или не дописана буква: посвежело, о погоде, так и так может быть, пишется в одинаковом ряду}. Поехал. Наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться, и всё. Уж сколько раз! Дорогой любил.

2 °*Сент[ября]* (1858) [Ясная Поляна]. Приехал. Устал. Не любил и не трудился.

Наблюдатель не паникует, не меняется, не принимает немедленных мер оттого, что принял решение любить и трудиться и на следующий день не любил и не трудился. Это и не значит, что он хладнокровно дает себе гулять, мудро отпускает поводья, чтобы потом всё-таки тем вернее заставить и любить и трудиться. Это значит только, что странность своего поведения повышает остроту наблюдения, интерес теории, присутствия при том, что «я меняюсь всегда». (4.10.1858)

4 *Октября* (1858)... {конец записи} Тетинька два дни плачет {он ее расстроил}. Я так переменялся. Мой характер узнать нельзя. – Действительно же я только прошу Бога о терпении. —

Чтобы Бог имел терпение терпеть меня такого? Или чтобы я имел терпение выносить себя такого? И то и другое. Это просьба о невмешательстве, Бога и своего, в себя. Дать размах природе, которая и так уже удивляет размахом. Что бы ни случилось, лишь бы продолжался смотр. Присутствовать при параде, космосе, театре. Теперь, что больше увлекает, парад или наблюдение? *Эти две вещи настолько разные и им дано такое несмешивание друг с другом, что они одно и то же.* Наблюдение останется тем же невозмутимым, если парад вдруг захлопнется.

23 *Декабря* (1858). Приехал в Москву с детьми. Перезалог {в Московском опекуновском совете} не удался. Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медвед[ем], 21 убил одного; 22 меня погрыз. Денег промотал пропасть.

На лечение, или на поездки, или на покупки, неясно. Толстой охотился под Вышним Волочком с Н. Н. Толстым, А. А. Фетом, П. А. Шеншиным, С. С. Громеккой и крестьянином Осташковым. Недобитая медведица погрызла ему лоб, на всю жизнь остались шрамы. Его выручил Осташков. Небрежность записи не кокетливая, пишет офицер, который недавно с фронта.

Лев Толстой живет откровениями. Они, поправьте меня, если я ошибаюсь, все собираются вокруг странности как сторонности, предельного *разнесения* – чего, какие полюса или, вернее, какие бесконечности разнесены до их полного совпадения? Он хочет иметь терпение при том, какой на самом деле широкий размах у всего.

14, 15, 16 (*октября* 1859). *Утро.* Видел нынче во сне: Преступление не есть известное действие, но известное отношение к условиям жизни.

Убить мать может не быть и съесть кусок хлеба может быть величайшее преступление. – Как это было велико, когда я с этой мыслью проснулся ночью!

## I-3 (19.9.2000)

Толстой слышит великое в своем откровении, об увиденном во сне, что ни одна вещь и ни один поступок *сами по себе* не верх и не низ, не подъем и не падение. Тогда давайте не бояться думать, и окажется: добро и зло не вещи *и не поступки*. А как же делание добра, добрые поступки? Где они расположены, если не в вещах и не в поступках? Раньше и ближе речей, вещей и поступков расположено в нас что?

Расположение. Настроение бывает хорошее и плохое. Хорошее мы рады показать. Плохое скрыть, под видом не обязательно хорошего, но допустим нейтрального. Есть ли сходство с желанием Толстого показать свои художественные вещи и не показывать дневник?

Два несходства. Какие?

Во-первых, в дневнике он иногда одобряет себя, бодрый, не всегда расстройство. Как когда он с удовольствием замечает, что вырос немножко большой. Тон дневника часто энергичный.

Второе несходство в том, что ведь неверно, что плохое настроение мы скрываем. Не всегда. Иногда, наоборот, мы его показываем. На самом деле показать скверность, со всем размахом (вы меня знаете с хорошей стороны, теперь узнаете с плохой, с размахом, или подчеркнуть свой упадок), – в природе человека. Скрываем мы на самом деле не плохое настроение само по себе, а слабость, вялость, растерянность.

Тогда почему же Толстой скрывает. Есть настроения, которые мы скрываем и о которых в то же время нельзя сказать, что они хорошие и плохие, хотя они не безразличны к хорошему и плохости, даже имеют самое прямое отношение к ним *как обещание чего-то очень хорошего или, наоборот, как возможность и угроза обернуться чем-то очень плохим*. Я не буду приводить из поэтов и психологов формулы этого расположения, причем именно потому, что оно интимное. В нём не только не делается поступков, не произносятся слов, но даже оно будет развеяно насильственным заставлением себя говорить, делать поступки. Амехания, бывающее природное естественное состояние невозможности привести в действие механизмы тела и ума, – частный случай расположения, о котором я говорю, но это расположение шире и бывает оно чаще, чем амехания.

Назовем его пока условно *брожением*. Бродит странник, и бродит вино, пока не приняло свою химическую формулу. Опять я намеренно не буду вспоминать ясные описания такого брожения в литературе. Лучше попробуем определить его сами.

Нерешительность – нам кажется, что у других, у настоящих людей ее нет или они мужественно ее не показывают. Обычно мы думаем в растерянности, неопределенности, что правильно было бы усилием воли вернуться, принять решение. Неопределенность неудобна, и прежде всего именно невозможностью сказать, хорошо или плохо то, что мы делали до сих пор и что мы запланируем делать. Но в отношении того, что мы в таком расположении делаем сейчас, этой невозможности характеризовать нет: ведь мы сейчас как раз ничего не делаем.

Если бы что-то делали, например писали что-то, включилась бы необходимость логическая, художественная. В плохом настроении протест и расправа диктовали бы свой смысл. Дневники Толстого содержат заготовки к художественным вещам, но их стиль как раз очень чисто обходит литературу, риторику. Его недовольство, об этом будем говорить, в дневниках имеет всегда уже только форму *сообщения* о своем состоянии, со снятым протестом, протеста нет даже против себя, расправы над собой. С ходу это – как запись 19.9.1858 в Москве: «Решил, что надо любить и трудиться», и 20.9.1858 в Ясной Поляне: «Приехал. Устал. Не любил и не

трудился» – понимается как комическая несостоятельность, где же недовольство собой, раскаяние исповеди. Дело в том, что мы не в том тоне это читаем. Дневники пишутся, как я сказал, в настроении рыскания, в котором суждения о хорошем и плохом – пожалуйста, их сколько угодно, но это состояние зависло в неопределенности, не поддаваясь оценке на хорошо-плохо, т. е. поэтому *мы не можем сказать, хороши или плохи эти слова Толстого*, хорош или плох он сам их говорящий. В решительном настроении интерпретатора, судьбы мы не слышим этого тона, но Толстой в своих дневниках делает нам подарок, показывает нас нам в брожении *и этим свою и нам нашу нерешимость прощает, принимает ее, санкционирует*. Раньше мы имели дело с санкцией как одобрением *хорошо*. Теперь, вот, неопределенность, без поступка, без звучащего слова (дневники не для чтения вслух), но санкция. Небегство, выдержка.

А как же мы говорили, что в неопределенном расположении нет поступка? Санкция разве не поступок? Мы нашли что искали. Есть движение до слова и поступка, о котором нельзя спросить вопросом «*что* говорится, делается?». О неопределенности по определению нельзя спросить, что она такое. О том, что не *что*, нельзя сказать, хорошее или плохое. Мы бродим, мы ни то, ни то. Мы легкая добыча для деловитых и для самих себя, можем каждую минуту себя уличить, разоблачить, расправиться с собой или устыдиться себя, и наша неопределенность кончится. Но пока она продолжается, она настолько далеко идет, что снимает оценки на хорошо-плохо, мы уже не знаем. Настроение неопределенности распространяется на всё. Бродим мы и ценности. Можем мы принять, разгромить что-то в таком настроении? Не больше, чем в амехании. Я хочу, чтобы вы согласились со мной или не согласились. Что-то оформится, когда неопределенность кончится, пока нет.

Теперь я должен быть внимательный. В настроении неопределенности все оценки относительны. «Преступление не есть известное действие, но известное отношение к условиям жизни. Убить мать может не быть и съесть кусок хлеба может быть величайшее преступление». Это, увиденное во сне, Толстой называет великим. Великое высокое, большое, верх, т. е. Толстой делает открытие относительности оценок и остается при верхе и низе. Велико открытие, что в неопределенности есть верх и низ: что в тумане брожения опереться не на что, всё становится невидимо, из метрического пространства выходим (когда я подошел это писать, я услышал и увидел текст модной среди молодежи песни с такими словами,

There are no uncriminal crimes  
There are no unrhymable rhymes  
There are no identical twins  
I just want you<sup>11</sup>

слышимое осязаемое свидетельство, как трудно выйти из метрики и одновременно как трудно не потерять абсолютных верха и низа. К сожалению, статистически преобладает это устройство: абсолютных верха и низа нет, но метрика есть, всё измеряется, преступление это преступление, рифма это то что рифмуется, поэтому метрика не имеет привязки и зависает в неопределенности *вся целиком*, человек живет в страшно неуютном, собственно адском порядке, о котором знает, что этот порядок может быть весь заменен).

Поздравляю вас. Сейчас, наконец, на третьем занятии мы вступим в пространство толстовских дневников. Здесь пространство неопределенности, рыскания, брожения, нерешенности, нерешаемости. Нельзя решить, съесть кусок хлеба хорошо или величайшее преступление. Нет метрики: вчера я расписал себе любить и трудиться, сегодня не любил и не трудился, и неясно, где это мое вчерашнее решение, оно осталось во вчера. Мы бредем вслепую в темноте,

<sup>11</sup> Не бывает непроступных преступлений, Не бывает нерифмованных рифм, Не бывает одинаковых близнецов, Просто я люблю тебя (англ.). – Из песни Оззи Осборна «Просто я люблю тебя» 1995 г.

*но здесь есть верх и низ, абсолютные, в этой темноте, и жизнь зависит от этой борьбы.* Невидимая брань вовсе не значит, что посторонние ее не видят, а <значит,> что там сталкиваются, дерутся и падают или поднимаются, ничего не видя глазами. И нечего цепляться за метрику, говорить, что там открываются другие глаза, с такими-то параметрами. Этот якобы духовный дискурс просто протаптывание теми же грязными ногами пространства, где извольте всерьез метрику оставить.

Толстой рано уходит в тот пейзаж, упрямы и силы ему хватает, чтобы не хитрить с собой и чтобы принять, что извне его действия становятся странные, потом нелепые, потом юродивые, потом смешные. Повторять тысячекратно правило, что надо любить, и тысячекратно винить себя за раздражение. Говорить о воздержании и сотни раз винить себя за передачу, писать «Крейцерову сонату», обещать себе спать отдельно и дрожать и узнавать с тревогой, не забеременела ли от него на его седьмом десятке лет жена. У всякого появится чувство превосходства. Такое поведение не лезет ни в какие рамки. Толстой и здесь добился чего хотел, взял нас. Ему надо, чтобы мы видели его нелепым, юродивым: «лишения и боли... худая слава, оскорбления, унижения... враждебность к тебе людей... то и другое и третье необходимо тебе» (цитировалось 5.9.2000).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.